



Николай Крышук

Кругами рая

Николай Крыщук

Кругами рая

«WebKniga»

Крыщук Н.

Кругами рая / Н. Крыщук — «WebKniga»,

Роман «Кругами рая» можно назвать и лирическим, и философским, и гротесковым, но прежде всего это семейная история профессора филологии, его жены-художницы и их сына, преуспевающего интернет-журналиста. Почему любящие друг друга муж и жена вдруг обнаруживают, что стали чужими людьми, и обмениваются по утрам вежливыми записками? Как отец и сын, которые давно не общаются между собой, оказываются участниками любовного треугольника? Это роман об ускользающем счастье и не дающейся любви. Николай Крыщук удостоен за него премии «Студенческий Букер» 2009 года.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая | 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 17 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 27 |

Николай Прохорович Крышук

Кругами рая (Роман-кино в двух частях)

Часть первая

Три доли

1

После окончания первого класса они поехали с отцом на море под Одессу, в поселок Санжейка. Мама осталась готовить картины к осенней выставке. Но Алеша знал, что на самом деле она боится бросить без присмотра новых детей, в которых влюбилась прямо-таки горячо.

На день рождения шумная, насквозь остроумная компания притащила ей столитровый напольный аквариум с розовой лягушкой и испуганно озирающимся аксолотлем. Мама пришла от этих уродов в восторг и тут же принялась целовать их.

Семья стала быстро пополняться. Были куплены еще две лягушки – желтая и оливково-зеленая, и еще один аксолотль. Шпорцевые лягушки были гладкие, с глазами на затылке, которые всегда смотрели вертикально и то ли приманчиво, то ли агрессивно поводили щупальцами. Передние лапки у них были без перепонки, и лягушки напоминали Алеше человеческих зародышей, которых он видел в отцовской энциклопедии. Что будет, если они начнут вдруг расти, выползут и однажды превратятся в больших жабообразных людей?

Аксолотль был похож на рыбу, но тоже с лапками, вроде тритона. Темно-зеленый, с бурыми пятнами, он любил уйти в глубину и слиться с водорослями, уклоняясь от знакомства. Всё это были какие-то промежуточные твари, и Алеша думал, что, может быть, его тело тоже временно и однажды ему предстоит превратиться в земноводное или летающее. Он бы, по правде сказать, предпочел летающее, если, конечно, это не летучая мышь.

Промежуточное состояние всех этих существ вскоре подтвердилось. Аксолотль вот-вот мог оборотиться ящерицей, для этого ему и была построена горка из камней. Несколько дней Алеша сторожил волшебный момент, но мама объяснила, что превращение произойдет через несколько лет, и то лишь в случае экстремальной ситуации. Алеше сразу стало скучно.

С утра мама, обычно растягивавшая сон, теперь тащила сына в Александро-Невскую лавру на заболоченный пруд. Они ловили сачками дафний и мотыля, чтобы ее любимцы не волновались от голода. Алеша ревновал маму к ее веселости и охальной любви (слово он услышал во дворе и сильный смысл его чувствовал). Когда однажды она в очередной раз прилаживала капроновый чулок с мотылями в сливном бачке, он спросил:

– Мама, а мы сами есть будем?

– Так всё на кухне, – ответила та, не оборачиваясь – Посмотри, милый. Ты же взрослый!

Нет, определенно, своих латиносов она любила больше. «Взрослый» не произвело на Алешу никакого впечатления. Он давно знал наизусть все мелодии маминой речи. Эта означала: «Отстань, моя радость. Лети в жизнь сам».

С тех пор глаза мамы застлал огонь, перебегающий по поверхности белыми влажными точками, она никого вокруг не видела, только эти немые нахлебники возбуждали ее. Странно еще, что ночами мама уходила в свою постель, а не залезала к ним в аквариум. Отец останавливался над аквариумом и долго смотрел в него, пытаясь понять тайну маминой любви и сообщить, чего в нем самом не хватает – жабр, рыжины или этих вертикальных глаз?

Их поездка была похожа на бегство обиженных детей в Африку.

* * *

Дом, в котором они снимали комнату, отец называл «жертвой купеческой фантазии». Задумывался он с причудами и именно потому, вероятно, был обречен на вечное строительство. Отец, любивший обобщать, мог бы сказать что-нибудь вроде того, что мечтаем мы всегда не по средствам. Но он этого, кажется, не говорил.

Спали они вместе на огромной кровати, стоявшей посреди большой залы. Рядом с кроватью в кадке рос фикус. Его новые листья, свернутые трубочкой, скрывались еще в красных конусообразных кожухах.

Рамы в стене, сплошь стеклянной, отсырели после зимы, и сквозняк свивал на полу кратеры из цементной пыли. Днем там было жарко, а ночью холодно. Бетонные плиты на потолке уже чуть разошлись. Крыша, однако, была выложена розовой керамикой, дождя они не опасались. Между тем стоил этот бивуак во дворце дорого, вероятно, в счет проектируемых достоинств.

На коньке крыши деревянный аист лет пятнадцать уже смотрел на недостроенное гнездо. Второй этаж дома опоясывала галерея. Под домом – зацементированный гараж. Туда хозяин складывал арбузы, пока за ними не приедут из города.

Прозвище у хозяина было «Айвазовский». Всё в округе – клуб, магазин, сарай, где ремонтировались баркасы, сельсовет и склад – он разрисовал портретами вождей, напряженными, но одновременно и радостными лицами тружеников бахчи и моря, а также, кстати и некстати, бирюзовой волной и парящими над ней альбатросами. За это и получил от начальства разрешение построить на берегу моря собственный коттедж.

Айвазовский, фантазировал Алеша, был похож на яичный желток: кругленький, юркий, цветущий и лысый.

Творческий азарт Айвазовского иссяк, да и рука уже несколько лет как стала сохнуть. Во всяком случае, он давно превратился в патриота собственного огорода, дачникам и проезжим отпускал дары природы по ценам, как говорили, непомерным. К тому же, не раз его ловили на обвешивании. Кроме этого, широта натуры Айвазовского и его художественное прошлое сказывались по большей части в разговорах.

– Стяжатель не может быть хорошим человеком, конечно, что вы говорите! – просто-душно делился он. – Общение с природой так помогает. Я общаюсь с виноградом, я общаюсь с кукурузой, я общаюсь с помидором.

Собранные помидоры Айвазовский укладывал в валенки – там они лучше доходили.

Алеша выбрал самый крупный арбуз («Кавуниха!» – похвалил Айвазовский), и они с отцом пошли на море.

* * *

Курицы во дворах вели бои за мелкую хамсу, выпавшую при перегрузке утреннего улова. Цыплята оказывались обычно проворнее родителей.

– Ловко воруют, – сказал Алеша.

– Не воруют, а борются за существование. – Отец положил Алеше руку на голову. – А заметил, молодые уже отрабатывают осанку? Головкой чуть-чуть поводят, якобы от праздности, рассеянности и юного любопытства. А шея гордая.

– Папа, а курицы – гордые птицы?

– Да нет. Вздорные. И то чаще петухи. Но этого форсу и им ненадолго хватает. А когда топор почуют... Тут уж какая гордость! Некоторые, правда, перед смертью успевают взлететь. Но тренировка отсутствует. Нет, трусливая птица.

Над заборами свешивались сытые вишни и зеленые грецкие орехи. Орехам еще надо было стариться до поздней осени, чтобы стать съедобными. Но этого они с отцом уже не увидят.

– У дяди Толи Пронька чумкой заболела, – сказал Алеша. – Мы от нее можем заразиться?»

– Не думаю. Это же собачья чума. Она только для собак».

С соседней улицы прямо перед ними выплыла семья. Они встречались с ними каждое утро, хотя знакомы не были, поэтому только раскланялись и поздоровались тихо, как будто боялись разбудить деревню, вставшую часов за пять до них. Собственно, «выплыла» относилось только к женщине. Она уже сняла халат и была в купальнике, чтобы не терять зря солнце, прохладная и тяжелая, как кувшин с водой. Казалось, что ноги ее касаются земли только из вежливости. Она не хотела никого обижать и поэтому слегка погружала пальцы в пыль, хотя, конечно, могла тихо лететь над землей, ей самой пачкать ноги было совершенно не обязательно.

Рядом бегала девчонка, с ногами, которые вот-вот могли сломаться. Она отстукивала своими копытцами какой-то танец и была уже по шею в пыли. Отец ее, больше похожий на ночного сторожа, шел сзади и свирепо изучал дорогу. Он боялся пропустить драгоценный камень, об изобилии которых местные принимались рассказывать после первых трех стаканов молодого вина. Алеша стеснялся его глупости, а поэтому и со всей семьей поздоровался еще тише, чем отец.

* * *

В детстве Алексей был из тех мальчиков, которые не говорили спасибо. Слово это ни к чему не годилось, уже хотя бы потому, что все считали его обязательным. «Спасибо» дяде Гере, который водил его на самолет, и «спасибо» тете Зине с ее потной конфеткой требовало разных слов.

Для избыточного чувства «спасибо» было мало, если же дежурная конфетка, то он выставлял себя чувствительным дурачком, не понимающим, что конфетка только для того, чтобы «прелесть мальчик» поскорее удалился и не мешал разговаривать взрослым.

Он, конечно, уходил, но молча. Тетя Зина шептала маме: «Оставь, он стесняется. У мальчиков это бывает». Какого черта! Просто он не желает быть «изумительно вежливым».

Взрослых, которые при встрече восклицали: «Рад тебя видеть!», он молча записывал в шпионы и удивлялся, как родители не догадываются, что те шпионы. Сам он никогда не был рад себе, с чего бы радоваться им? Всякая преувеличенность вызывала у него подозрение.

Взрослые вообще отличались уклончивостью, никто не умел быть искренним, и все у них при этом как-то обходилось. Ему даже казалось, что взрослые условились никогда не говорить того, что действительно думают, и подражали героям зарубежных фильмов.

«Как тебя зовут? – Тревис. – Хорошее имя». «Вы приехали поездом или автобусом? – Автобусом. – Пойдемте выпьем! – С удовольствием. – А вы забавный парень». «Ну как, нашел кого искал? – Не совсем». «У вас что-то случилось? – И да и нет». Крепясь изо всех сил, они смеялись, обменивались возбужденными и глухими репликами. Но кто-нибудь обязательно не выдерживал: «Он был для меня больше, чем отец», «Спасибо, ты спасла мне жизнь», «Дорогая...». От слова «дорогая», без которого не обходились даже убийцы, его начинало тошнить. К сожалению, буквально.

В пять лет он вынес миру приговор, оглашение которого было отложено, после чего почувствовал, что остался один. Скука превратилась в заслуженное одиночество, зато будущее неожиданно обрело смысл.

В один прекрасный день ему предстояло открыть людям правду. Это была его тайна, она придавала значительность каждому дню, с ней он просыпался и засыпал, а днем собирал улики взрослого притворства. Не подозревая об этом, они то и дело ошибались, забывая про роль.

Алексей плохо помнил лица, имея дело с некими существами, которые образовались из сложного сочетания носов, галстуков, запахов, взглядов, словечек, голосов, шляп, прозвищ. Перемена любой из составляющих могла сбить с толку. Мама замечала в нем заторможенность.

Достаточно было Екатерине Осиповне прийти без мужа, и не вечером, а утром, и без твердых, как грибы, завитков на голове, чтобы он не узнал ее. Эта женщина была не похожа на высокую, с продолговатым животиком букву Е.

Его она не заметила, хотя обычно вскрикивала еще в дверях, присаживалась и начинала петь голосом кошки. С папой Екатерина Осиповна говорила голосом, которым просят показать фокус: «Григорий Михайлович, ну я вас прошу...» Иногда голосом доктора, когда закрывала ладонью: «Вы себя губите». Эта была старушкой и говорила почти неслышно, секретным голосом для телефона.

Глаза, правда, ему показались знакомыми. Они были похожи на яркий, серый день, он даже пытался представить иногда, как же Екатерина Осиповна спит с открытыми глазами? Представить, что они когда-нибудь закрываются, было невозможно.

Он решил проверить. Сейчас был как раз такой момент. Екатерина Осиповна не умела сама развязывать шнурки на туфлях. Это была обязанность ее мужа, Карасика. Приходя, тот всегда начинал страшно хохотать и приговаривать: «Но не до побудки, не до побудки!» Потом присаживался к шнуркам жены. А уходя, тоже за шнурками: «Значит, мы вас ждем часиков в девятнадцать».

Но Карасика не было, а мама сказала Екатерине Осиповне, чтобы она проходила так.

– Кто это? – спросил Алеша, когда за гостьей закрылась дверь.

– Это Екатерина Осиповна. Ты не узнал? У нее умер муж.

Карасика ему было жалко. Больше он к ним не придет, и они не будут играть в шашки на вышибалы. А Екатерину Осиповну жалко не было. Она давно уже призналась маме, что «Карасик не мужчина, а чучело с погонами». Он ей нужен был только для того, чтобы снимать и обувать туфли.

Теперь-то Алеша вспомнил ее. Разговаривая с мамой, Екатерина Осиповна, как всегда, стала трогать мочку уха и:

– Ой, клипсы забыла.

Она их не забыла, она их специально забыла, чтобы все увидели, что забыла. Это же понятно. Так нужно было для горя. Как он сразу-то просмотрел эту ее манеру – трогать мочку.

В Новый год Екатерина Осиповна пришла к ним уже с другим мужем. Платье обтягивало ее, как чулок, и она снова была похожа на прописную букву Е с брюшком. Она теребила ухо, снимала клипсу и клала ее рядом с собой. И снова просила папу показать фокус. Со шнурками тоже было улажено. Нового мужа звали Тарасик.

С детством, в сущности, было покончено. Ведь богатырь-младенец, поднимающий пальцем гирю, уже не совсем младенец. Он не мог объяснить причины своей проницательности, да и не знал пока, к чему ее применить. Люди были похожи на свои имена, домашние животные – на хозяев, вещи умели притворяться, у голоса был цвет. Все было как-то связано между собой, все жмурилось, подмигивало, обманывало, переодевалось и было при этом не прочь, чтобы его узнали. Он первым об этом догадался. Даже не он, кто-то другой, в нем поселившийся. Это был дар. А дар все же не своя ноша, он тянет.

Никому Алеша про это не рассказывал. Сейчас с отцом он невольно становился глупее себя, с удовольствием ему подыгрывал, отдыхал. Они оба отдыхали.

К морю надо было спускаться. Издалека оно казалось плоским, и за ним сразу начиналось небо; белое, вспухшее, оно как будто наваливалось на море и переливалось в него своим

светом. Там, по этому ослепительному валу, не касаясь воды, плыл кораблик. Алеша запрыгал, показывая на него пальцем.

– Точно, – подтвердил отец. – Сегодня штиль. Видишь? Ни одного барашка.

Он что-то добавил еще про мнимый горизонт, который появляется в такую вот тихую погоду, но Алеша не понял. Отец снял рубаху, вскинул голову и стал похож на аиста, оглядывающего восхищенно свое недостроенное и все же прекрасное гнездо. Он потянулся сильно, с хрустом, как будто только сейчас проснулся, и продекламировал:

– Остановись, мгновенье! Ты мне нравишься!

Алеша понимал, что отец повторяет чьи-то слова, то ли восхищаясь ими, то ли над ними подсмеиваясь, – обычная его манера. Он всегда находился в товарищеских отношениях с теми, кто давно умер. Судя по тому, как нюхал отец своим длинным носом морской воздух с запахом гнилой рыбы и, сняв очки, жмурился, разговор с очередным классиком был еще не закончен.

– Так сказал бы Фауст, если бы он был одесситом. – Отец посмотрел на сына и добавил: – Гете мы с тобой еще не проходили. Побежали?»

Они бросились к морю по крутому спуску, призывая на себя ветер. И воздух, наводивший дурь запахами рыбацких сетей, полыни, коровьих лепешек, акации и нагретой смолы, теперь пах только морем, далеким морем, а не тем, которое холодным приливом сбивает к берегу черных бычков, так что их можно ловить руками.

Подходя к безлюдному пляжу, они стали гадать, с какими насекомыми им предстоит делить жизнь сегодня. Это население прибрежной полосы каждый день менялось, какая-то у них все время происходила миграция, а может быть, даже одна цивилизация сменялась другой. Позавчера здесь были зеленые мушки. Они светились и гасли вместе с солнцем, но крылышки их оставались всегда пасмурными. Вчера бесшумно облепляли тело мошки прозрачные, как вода. Их они не убивали, а смахивали, спасаясь от щемотки.

– Значит, сегодня черные, – предположил Алеша.

– Посмотрим, посмотрим, – ответил отец. – А вдруг сегодня нас посетят пришельцы из Тавокадо?

– Тавокадо – это ведь фрукт, – сказал Алексей.

– Фрукт называется авокадо, в переводе – аллигаторова груша.

– А Тавокадо?

– Этого я пока не знаю, – загадочно произнес отец.

Как только они устроились на песке, на одеяло стали напоззть муравьи, а в воздухе зароилась шарами невесомая пепельная мошка.

– Не угадали, – сказал отец.

– А эти откуда?

– Я думаю, местные.

* * *

Одурев от купания, они принялись за арбуз. Арбуз был на самом излете: в сердцевине его образовались уже сухие сахаристые обвалы. Алеша погружал в арбузную мякоть все лицо, как только что в море, когда ловил бегающих по дну рачков, потом отводил ломоть в сторону и оглядывался. Время от времени он говорил отцу:

– Солнце уже перешло. Давай сдвинемся».

Отец тоже не любил сидеть без дела. Они обследовали прибрежные норы, вымыли в море яблоки, успевшие обвалиться в песке, и сели играть в дурака. Отец опередил его просьбу:

– Доставай свои портянки. Сдавай. Бессмысленное ты существо! Ну как, вкусно?

– Кожура соленая.

– Не очень товарный фрукт, верно. А вот дома расскажешь маме, что мы на море ели яблоки с соленой кожурой, увидишь, как она будет восхищаться и завидовать!»

– Почему это?

Отец помолчал, раскладывая веером карты и что-то напевая. Потом сказал:

– Не знаю. Сила искусства.

Играя, отец всегда что-нибудь напевал. В этот раз он пел: «Вы скажете, бывают в жизни шутки...» Задумывался, кидал на одеяло карту и снова: «Вы скажете, бывают в жизни шутки...» Текст дальше он, похоже, забыл. А поэтому, когда партия заканчивалась и начиналась новая сдача, переходил сразу к тому, что помнил: «И будет шум и гам, и будет счет деньгам, и дождички пойдут по чет-вер-гам!».

– Пап, у тебя животик похож на сумку с дыней, – говорил добрый Алеша.

– Не дерзи! Плохие дяди за такую наблюдательность могут уши надрать.

– Ну надери, надери попробуй!

Отец отвечал медленно, с наигранным равнодушием и длинными паузами, по привычке преферансиста складывая в ладонях карты масть к масти.

– Я пока еще хороший дядя. Пока ты не довел меня до иступления. И не заставил совершать безобразные поступки. Тогда я стану решительным и беспощадным, прожорливым и мстительным. Помню, однажды верблюд задумал совершить в меня свой мерзкий плевок. Я сразу разгадал его замысел по нервному движению кадыка. Я сказал ему: «Минуточку!» Я замотал его пасть изоляционной лентой, так что скоро он даже хрюкать не мог. На закате верблюдов стал просить у меня прощения, вилял своими пустыми горбами и смотрел в небо выпуклыми синими глазами индуса. Но я был непреклонен. Дождавшись, когда угли на костре стали из белых красными, я освежевал тело скверного, опозорившего свой род животного, зажарил и съел его.

– Врешь! Целиком?

– Не вру, а сочиняю. А ты зачем-то подстрелил мою фантазию своим скепсисом. То есть поступил невежливо. Тебе второй неуд. Дальше начнется временное поражение в правах. Ты походишь наконец?

– У меня одна масть. Надо пересдать!

– Собачья чумка нам не касается, – пропел отец.

Потом, отбиваясь, он всякий раз приговаривал:

– Чумка бывает разная. Вот легочная. Король. Желудочная. Дама. Нервно-паралитическая. Снова дама. А эту карту бить не надо. Я тебе ее просто дарю.

И он выложил перед Алешей козырного туза.

Снова купались. Отец делал сцепку руками, Алеша вставал на нее и на счет «три», выталкиваемый отцом, катапультировался. Вода попадала и в рот, и в нос, он долго откашливался и сморкался. Отец хохотал:

– Ах, как ты плавно вошел животом! Загляденье! И ноги такой изящной раскорякой пустил. Знаешь, мне показалось, что это небесная бабушка небесному ребеночку козу делает.

– Иди! – кричал огорченный Алеша, тоже не в силах, однако, удержаться от смеха. – Кидать надо по счету, а не когда попало!

– Ладно, ладно. Хватит уже сморкаться! А то хочешь, я на берег за платочком сбегая?

– Обойдусь!

– Вот это правильно. Никаких одолжений от врага. Следующий раз мы прищепку у тети Лиды попросим. Нос – наш фамильный, как-никак, знак. Знак, как-никак! – повторил он.

Через минуту Алеша снова взбирался на отца.

* * *

На берегу отец сообщил:

– Ухожу спать. Остальным разрешается чтение с бутербродами».

Спать не хотелось. Метрах в пятидесяти та самая незнакомая семья строила из песка замок. Строила в основном женщина. Теперь ей уже не нужно было притворяться, и она летала туда-сюда, не касаясь песка. Девчонка с пластмассовыми желтыми кружками бегала к морю и поливала замок. Алеша лег щекой на одеяло и некоторое время так наблюдал за строительством.

Замок казался выросшим посреди барханов. Солнце над ним и вовсе было настоящее.

Алеша чувствовал, как солнце натрудилось за день и все ему надоело. Сейчас оно меняло цвета: из белого становилось синим, потом, на мгновение, черным, снова белым, снова синим. А все вокруг от его усталости стало серым, вымоченным в хлорке.

Вечером волна смывает замок, а солнце снова уйдет в другие страны, чтобы заново посмотреть на тамошних людей – что у них за ночь переменялось? Стонов и мольбы о пощаде жителей замка оно не услышит, и те исчезнут навсегда. Как будто и не жили. Зачем только были все их шпаги, манжеты, графы и графини, графины с вином и золотые постели? Зачем сражались, танцевали, объедались и пели под луной серенады?

* * *

Алеша не заметил, как уснул. Когда он проснулся, отец еще спал. Пепельная мошка покрыла его тело; только по перемигиванию слабых огоньков можно было догадаться, что покрывало шевелится и живое. Муравьи протаранивали в нем свои дороги.

Губы отца улыбались, как у сфинксов. Алеше так захотелось узнать: чему отец сейчас улыбается? Сухой тростинкой он провел по его руке. Мошкара даже не взлетела, не испугалась. Нет, ну устроились, как на камне!

Алешка схватил пляжную кепочку и побежал к морю. Сейчас. Он набрал в кепку воды, зажал ее по краям и направился обратно. Надо быстрее, кепка протекает, воды остается уже чуть-чуть. Алеша напрягся и сморщился, как будто мог таким образом задержать в кепке воду, споткнулся и едва не *упал*. Он взглянул на отца, уже прицеливаясь в него своим подарком, и вдруг резко остановился. На лице отца не было улыбки. Оно все оплыло к подбородку, оставив незащищенным только летящий нос. Но и тот остановился, как будто ударился обо что-то.

Пепельная мошка устраивала на веках отца возню. Но сам отец был мертв.

– Па-па! – закричал Алешка, откинув кепку в сторону и не двигаясь с места. – Папа! – снова крикнул он голосом, о существовании в себе которого не подозревал.

Отец вскочил, одной рукой нащупывая очки, другой смахивая с лица мошкару. Потом, не найдя очков, со слепыми глазами протянул обе руки к сыну и быстро, отчаянно, как бы в припадке, заговорил:

– Ах эта Василиса, хромонога несчастная, опять наелась мухоморов, оставила-покинула – подкинула, забыла-проспала-заспала, проморгала-просрочила-заговорила бедное королевское дитя, если говорить серьезно, несчастная вы нянька, то вообще мы вас не только что, а, как бы это сказать, само собой разумеется, хотя это и не разумеется, а всякий раз ты воспользовалась тем, что у меня легкое сердце и предсмертная астма, от которой так легко дышится, что дальше уже получается и некуда...

– Папа, папа! Ты что?

Испуг в Алешке стал еще сильнее, как будто сумасшедший отец был страшнее отца мертвого. Он отбежал от его протянутых рук. Тот наконец нашел очки, и сразу вместе с ними знакомая сыну ласковая озабоченность вернулась на его лицо.

– Ну ты что, что, миленький? Прости, это я тебя напугал.

Алеша сел рядом и заплакал.

– Ты чего испугался?

– Мне показалось, что ты умер.

– Вот неприятность какая! Но это бывает, знаешь, бывает. Но я же еще не умер? – отец продолжал стряхивать с себя мошку. – Сколько ее налетело, а?

– Она на всем тебе была. А ты не слышал.

– Вот ведь какие дела, надо же!

* * *

На обратном пути они оба молчали. Куры во дворах выклевывали из пыли рыбную шелуху. Отец, старый, шел чуть отставая. Алеша все время оборачивался и протягивал ему руку.

– Иди, иди, сынок. Я сзади, чтобы на тебя не напылить.

У отца порвался ремешок на сандалии, сандалия убежала вперед, он догонял ее, прищипывал ступней и волочил дальше. Лицо его, потемневшее на солнце, обежали морщины, а глаза стали светло-ясными и растерянными. Так случалось всегда, когда у него болело сердце.

– Сердце? – спросил Алеша.

– Нет. Дышать тяжело. Давай сделаем крюк мимо маяка.

Они пошли по высокому берегу, где был ветер. Трава и здесь была сухой и пыльной, но море все же доносило свою свежесть, может быть, потому, что теперь они шли не спиной к нему, и дышалось легче.

Все, как нарочно, напоминало о смерти. Алеша чуть не споткнулся о лошадиный череп – он лежал прямо на тропинке, глядел в небо, и гудел, и посвистывал, как маленький дырявый орган. Буквально через несколько метров попала на их пути мертвая чайка, заломившая за спину крыло для бреющего полета. Мушинные ангелы в черных и палевых фрачках подробно ощупывали и обнюхивали ее. «Смерть – это бесцеремонность», решил тогда Алеша. Ему вспомнились муравьи и мошка, как они хозяйничали на лице у отца.

В кустах под некогда оранжевым трактором, который пережил здесь уже не одну зиму, выпивали мужчина и женщина. Мухи слетались на еду, было их много. Женщина отмахивалась от них и при этом непрерывно говорила.

Голос у нее был грубый и в то же время жалостливый:

– Костюк, у меня мама умерла, ничего от нее не осталось. Только собака. Я ее никому не отдам, я ее выхожу. А и какого щенка родит, я его тоже вытяну. Ведь они продолжение моей мамы.

Алеша с отцом обошли трактор и кусты и уже за спиной снова услышали голос женщины. Он продолжал говорить о смерти. Такая у них у всех сегодня получалась тема:

– Костюк! Ты помнишь нашу яхту? Мы ведь ее похоронили...

Маяк еще не работал. Его стройное тело, покрытое мелом, солнце выбрало из всего окружающего для своего отдыха и разошлось по нему ровным розовым светом. Здание было огромным, в нем, наверное, можно было жить. Но домик маячника стоял в стороне. А сам маяк был одинок, как церковная колокольня. На медной пластине, которая была вмурована в стену, они прочитали надпись: «Маяки – святыни морей. Они принадлежат всем и неприкосновенны, как святыни морей».

– Хотел бы я быть маяком, – задумчиво сказал отец.

Алеше понравилось, как отец это сказал.

– Я тоже, – сказал он. В соединении того, что ты принадлежишь всем и при этом неприкосновенен, было что-то от волшебного заклинания, оберегающего от всех напастей, может быть, даже от смерти, и в то же время делающего тебя счастливым и желанным.

– Значит, мы не знакомы, – сказал вдруг отец и решительно пошел прочь. Алеша побежал следом.

– Мы знакомы, – крикнул Алеша и попытался вложить свою ладонь в равнодушную почему-то руку отца. – Еще как!

– Нет, мы не знакомы. Маяки не ходят друг к другу в гости, не заводят на свою голову детей и вообще даже не подозревают о существовании друг друга. Посторонитесь, существо! Не загораживайте мой свет!

Отец пошел гордо, размашистым шагом, безупречный и довольный собой. Но он забыл о сандалии, и та, соскользнув, улетела вперед метров на десять. Алешка, хохоча, бросился за сандалией.

– Привет, существо, – сказал он. – Вот ваш сандалий!

– О, как это мило с вашей стороны, – отец с поклоном принял находку. – Спасибо, дорогой друг. Я давно ищу эту драгоценную сандалию, потерянную еще во времена жестокого разгрома янычарского корпуса, который учинил султан наш, Махмуд Второй. Нас, янычар, уничтожили тогда почти поголовно. Все из-за зависти плебса, крохотуля. Что скрывать, мы, конечно, любили кровавые шутки и незаконные гулянья, но мы были настоящими воинами. Армия же новобранцев не смогла справиться после этого с Россией, и та присоединила к себе лучшие земли на берегах вот этого Черного моря. А я в очередной раз, переодевшись ремесленником, бежал и так и слонялся по белу свету без этой драгоценной сандалии. Обувь, между тем, превосходная, – отец перешел на быстрый шепот, каким говорят торговцы в Ильичевске, пытаясь всучить товар: – Эти сандалии изготавливали греки на местной своей греческой фабрике «Скороход», – он ткнул пальцем в нестираемый фабричный штамп. – Сюда смотри! – Снова янычарским голосом: – Хотя греков мы били и даже немного притесняли. – Теперь опять вежливым иностранцем: – Вы бывали у нас в Турции?

– Да, – попытался поддержать Алешка игру, – и пили у вас кофе по-турецки.

– Лгун! – закричал отец. – В Турции никто не пьет кофе по-турецки. Все это выдумки кофейной мафии, которая отравляет мир пойлом, заваренным углями и песком, называя его бесстыдно «кофе по-турецки». Турки пьют темный чай из вазочек, таких изящных вазочек, знаете, в которых женская талия одновременно как бы и женская шейка. И заедают чай самсой, что по-турецки будет лагман.

Алеша привык к этим перевоплощениям отца и всякий раз любовался им.

– Ну, вот, наговорил с три короба, самому есть захотелось. Айда?

* * *

Тетя Лида, жена Айвазовского, была похожа на фарфоровую Аленушку у пруда, которая пролежала свою молодость в родовом сундуке. Глаза ее всегда смотрели в пруд, в котором предстояло их хозяйке в каком-то отдаленном будущем утопиться. Но будущее не торопилось навстречу тете Лиде, и глаза ее от долгого внимания выцвели, а взгляд стал рассеянным. Иностранная краска для волос была дорогой, да и в дефиците, приходилось краситься всякой дрянью, поэтому даже и первоначальный цвет волос на голове тети Лиды оставался ее женской тайной. Но растрепаны волосы были всегда, потому что в ожидании грядущего утопления тетя Лида регулярно мылась в душе.

Сегодня Алеша с отцом были приглашены на ужин к хозяевам. Отец был единственным собеседником, с которым в этой дыре Айвазовский мог культурно пообщаться. Пришлось для общего застолья пожертвовать палкой сервелата (обычно ее хватало на неделю).

Домашнее вино Михаил Степанович разливал в фужеры с серебряными вензелями неизвестного происхождения.

Он уверял, что из столовой графа Шувалова, хотя Алеша ясно разглядел подбоченившуюся букву «Ф» с узким морским флажком наверху.

– Молодому человеку?» – спросил Айвазовский.

– Немного, – согласился отец, – на случай атомной войны».

От вина язык стал шершавым, и Алеша принялся заедать оскомину помидором – огромным и сине-багровым, как небо перед грозой. Михаил Степанович очень гордился этим сортом, который назывался «черный принц». Как всегда, он рассказывал про свое духовное общение с огородом:

«Человек, вырастивший хоть одну гроздь винограда, не может быть плохим человеком, – говорил Айвазовский, опуская в вино кусочек колотого сахара. – В эту гроздь столько труда вложено... А как благодарит природа, когда о ней заботишься, как благодарит!»

Они сидели на веранде, обтянутой марлей, которая то прогибалась в их сторону от ветра, то отпрядывала назад.

– Это моя Лидуся рукодельничала, – почти взвизгнул вдруг Михаил Степанович. – Хорошо, с ветерком. А и без насекомых.

– Говном, правда, все равно с дороги тянет, – сказала тетя Лида рассеянно и даже как будто мечтательно. – Есть и в пасторали свои недостатки. Я права, Григорий Михайлович?»

– За одним исключением. В вас, дорогая Лидия Сергеевна, несмотря на свой скверный педантизм, изъянов обнаружить не могу». – Отец поцеловал руку тете Лиде.

«Господи! Какая гадость! – подумал Алеша. – Она же рыбой пахнет!»

Тетя Лида как раз заканчивала управляться с копченым бычком, посасывала жирный лоскуток спинной шкурки. В ее жирных губах отражался телевизионный экран.

Телевизор работал без звука. Там шли новости.

– Не люблю политики, – сказал Айвазовский. – Провинциальный театр. Они все знают, что надо делать, и не знают как. А я, представьте, знаю. Любой человек с трезвым умом знает.

– Ну как ты, например, будешь бороться с нашей бюрократией? – спросила тетя Лида. – Собственной кровью политые овощи и те без их бумажки на базар не пускают.

– Бюрократию надо выжигать каленым железом!» – взволнованно и решительно заявил Айвазовский и переложил своей здоровой рукой сохнувшую руку со стола на колено.

– Они тебе первому глаз выжгут. Тем более что ум твой сейчас не такой уж и трезвый.

– Ну, как ты можешь, лапа? – пробормотал Михаил Степанович, хихикая, и тоже потянулся целовать рыбную руку тети Лиды. – Эсэрочка моя ненаглядная. Вы знаете, ведь Лидия Сергеевна эсэрка. У нее дед был эсэром.

– Да, с выжиганием железом могут возникнуть непредвиденные трудности, – сказал отец. – Например, не окажется железа.

У тети Лиды была манера останавливать на ком-нибудь внезапно взгляд. Как будто этот человек и был тем самым прудом, в котором ей предстояло закончить свои дни. Человек начинал невольно чувствовать себя виноватым. Сейчас ее взгляд остановился на отце.

– Что это я хотела сказать гадкое? – спросила его тетя Лида, пристально глядя отцу в переносицу, от чего зрачки ее сошлись на опасное расстояние. Если бы в телевизоре был звук, то и он бы сейчас, кажется, притих. Тетя Лида думала. Но все разрешилось благополучно. – Или это не вам? – вдруг сообразила она и кокетливо рассмеялась.

Между тем Айвазовский принес самовар, который до того разогревался на дворе. Стали пить чай.

– Григорий Михайлович, – сказал хозяин, – мы здесь затворниками живем, а вы везде ходите, все читаете. Какие-нибудь новости расскажите?

– Да вот, что же?... Пожалуйста. Под Полтавой, где-то в Санжарах, кажется, свиноматка по кличке Леди от голодухи съела все свое новорожденное потомство. В честь сего происшествия ей дали новое прозвище – Медея. Но жизнь сохранили. Ввиду того, что рекордсменка.

Алеша прыснул: он не сомневался, что историю эту отец выдумал от начала до конца.

– Какая прелесть, – заулыбался Михаил Степанович, и Алеша уже было решил, что тот разгадал розыгрыш. Но он спросил: – В какой это газете, говорите?

– Вторичный «Гудок», – незамедлительно ответил отец. – В разделе «Простое, как мычание», на четвертой полосе.

– Мы, к сожалению, не выписываем этой газеты.

Свежие новости отец всегда приносил хозяевам из

«Гудка», и газета всякий раз поражала воображение разнообразием материалов и оперативностью. Михаил Степанович решил выписать «Гудок» на следующий год.

– Я не одобряю смертной казни», – немного меланхолично произнесла тетя Лида.

– С вами, Лидия Сергеевна, согласен и Лев Толстой, – вежливо ответил отец.

Алеша давно уже не слушал разговора взрослых. Труба в самоваре еще дымилась. Марля на рамах бесшумно вздувалась под ветром. Ему казалось, что он один плывет куда-то на пароходе. Он даже слышал гудок – одинокий гудок самовара.

Тут в телевизоре заработал звук. Начинаясь передача «Клуб путешественников». Михаил Степанович пересел в кресло и сказал, поглаживая беспомощную руку:

– Хорошо работать Сенкевичем.

Передачу смотреть Алеша не захотел, и они ушли, поблагодарив за хлеб-соль, вино и взаимопонимание.

Алеше стало грустно. Он так устал оттого, что отец сегодня его несколько раз не признавал, оставлял одного, однажды насовсем. Все это уже не казалось ему случайностью и игрой. Они шли по галерее, и ему представлялось, что дом этот, как песочный замок, тоже когда-нибудь исчезнет вместе со всеми его обитателями, и они с отцом исчезнут. Но ему почему-то никого не было жалко. Ему было все равно, умрет он или нет. Но он все же спросил отца о том, о чем хотел спросить еще днем:

– Папа, а как это меня совсем не было?

Отец остановился. Он тоже устал за день. На лице его была та же улыбка, что и на пляже, когда он спал. Отец приоткрыл дверь в темную пустую комнату. В гамаке, подвешенном на двух привинченных к полу столбах, лежали арбузы.

– Видишь? Тебя здесь нет.

– Вижу.

– Вот так тебя нигде не было.

Дома Алеша, быстро скинув одежду, бросился в постель. Тело стало тяжелым, но при этом куда-то летело. Сквозь сон Алеша услышал, как отец разговаривает сам с собой:

– Подумать только: сколько человеческого материала уходит на жизнь... А и то правильно – из ничего ничего ведь и не сошьешь.

* * *

День еще не догорел, когда Алеша проснулся. Отца рядом не было. Мальчик быстро натянул шорты и выскочил во двор. Куры возились в загоне, значит, хозяева ушли спать. И на дороге пусто. Алешка побежал к морю. Малиновое солнце коснулось туч, и высоко над ним взошла прозрачная, еще не набравшая силы луна. До темноты оставалось совсем немного. Ночи здесь не приходят, а падают, как подстреленные.

Отца он увидел издалека. Напротив него стояла та, летающая женщина. Отец держал ее за ладони, подбрасывал их вверх и что-то быстро говорил. Так однажды подбрасывал он ладони Алеши, когда тот набрал в лесу волчьей ягоды и хотел ее съесть. Ягоды подпрыгивали и рассыпались, а отец, испугавшись, кричал. Сейчас он тоже кричал, а женщина, кажется, плакала.

О том, что отец обманул его и ушел на море один, Алешка уже почти не думал. Но когда тот успел познакомиться с этой женщиной так, чтобы подкидывать ее ладони и чтобы она при нем плакала? Или они были знакомы до этого и оба притворялись? Зачем? В это он поверить не мог.

Но что-то случилось. Вдруг вспомнилась фраза отца: «Это тебе не козявки трескать!» И еще слова старика на рынке в Ильичевске: «Не бери в голову, клади в карман». Чушь какая-то! Но вся она была из той веселой, беззаботной, понятной жизни, которая кончилась. В этой, новой, его дар проницательности никому был не нужен. Никто не ждал от него откровения. Его здесь вообще не ждали.

Неожиданно пошел дождь. Алеша даже не сразу сообразил, что это дождь. Тот подкрадывался издалека, и сначала он его слышал. Звук дождя был похож на звук горящей стерни. Алеша мгновенно вспомнил. Это было прошлым летом.

Огонь бежит дымной полосой, подбирает по дороге скелетики полевых мышей, оглаживает голубым пламенем шкурки кротов. Мошкара не успевает улететь и вспыхивает в воздухе фейерверком. Тучи палят.

Они с отцом бегут от огня, бросаются в маленькую речушку и быстро переплывают. Отжимают одежду и уходят, неся ее в руках. Огонь не пройдет через реку.

Земля покалывает и мнет их ступни. Идут как пьяные, стараясь угадать в сумраке место поровнее.

Завтра им уезжать. Ветер разбросал на светлом небе черные и лиловые облака. Видно уже помаргивающее окно сарайчика и маму в нем.

«Холодно!» – шепчет Алеша. – «А мы сейчас запьем с тобой эту жизнь горячим чаем!» – отвечает отец.

Да что же это? Беда! Почему они навсегда не остались жить в том сарайчике? Мама пекла бы им оладьи с яблоками, они бы пугали ее в окно, а потом вместе разжигали печь. В саду пахло черной смородиной, и в дом иногда забегали ежи. Теперь всё! У мамы уже наверняка подросли жабообразные люди. Он ей теперь вовсе ни к чему. Отец уйдет с этой женщиной, и он его никогда не увидит. Он вернется домой, превратится в оранжевую лягушку, будет смотреть на всех вертикальными глазами и молчать. Мама станет разбрасывать над его головой мотылей. И никогда больше не пойдет он в школу.

Нельзя сказать, что Алеша так уж полюбил школу и скучал по ней. Но почему-то именно при этой мысли он заплакал.

И тут Алеша заметил, что отец машет рукой. Ему машет. Он веселый, он кричит: «Эге-гей!» И женщина тоже едва заметно поводит рукой, как будто разгоняет мошкару. Солнце в последний раз устало выплеснулось из-за туч. Хамса у баркаса шлепнула хвостом. Она была еще живая. Мальчик подхватил рыбешку и, забыв обо всем, пустился с откоса вниз. Женщины по краям улицы подметали зелеными вениками дворы, усыпанные пухом, и поднимали праздничную пыль.

2

Евдокия Анисимовна вышла из парикмахерской и не удержалась – едва заметно бросила взгляд на свое отражение в пыльной витрине.

Высокий мужчина с молодой сединой тоже последовал ее взгляду, потом посмотрел на Евдокию Анисимовну и улыбнулся. Она пошла быстрее обычного, как будто призыв «Все на сафари!», висевший поперек проспекта, относился прежде всего к ней.

Муж, если бы перехватил этот ее взгляд в витрину, непременно сказал что-нибудь вроде: «Не стреляй понапрасну глазками! Их у тебя всего два». Он всегда относился к ней немного как к боевой подруге.

Ну, теперь все, дружок, все, Гриша, подумала она не без бодрого злорадства, отвоевались. Сколько у вас там звездочек на погонах, товарищ? Простите, но мне это ничего не говорит. Всю жизнь в оранжерее проработала. Одурела от живых запахов. Что?.. Ах, как меня зовут? Азалия.

Утро у нее прошло под знаком малодушия. Но это уж так вышло. Всё. В последний раз.

Проснулась она оттого, что вспомнила, как засыпала. Проснулась и подобрала внутрь губки, обычно поданные вперед, как для первого поцелуя.

Дуня знала, в людях впечатлительных это ее вечно свежее движение губ рождало легкое беспокойство. Мужчины начинали вести себя преувеличенно, принимать позы а-ля Ватто, всем хотелось говорить возвышенно и остро; один старичок, растерявшись, напел ей колыбельную из своего сталинского детства. Она догадывалась, что является причиной этого деликатного возбуждения, и зло стеснялась своего недостатка, доставшегося ей от отца-стеклодува.

Она встала и в рубашке бесцельно начала бродить по комнате. Перебрала платья в шкафу. Сиреневое, из какого-то суеверия, хранилось для девочки, которая так и не родилась. Земляника в нем отпечаталась. Она вспомнила землянику, земляничину эту, весь тот день, разобранный солнцем, и наклонившегося над ней парня в рыжей проволоке волос. Голубые, дымчатые глаза его хотелось развеять или протереть. Сейчас она любила этого рыжего. А тогда прогнала. Господи, да ни за что! Тоже еще, лесной орех!

Виски ломило, картины ее оказались вдруг все больны желтухой. Сон все же победил, она сдалась, снова легла в постель и принялась мечтать.

Дуня увидела со стороны свое молочное тело и золотые волосы, как у Венеры Боттичелли. Нащупала на животе шрам от аппендицита и вспомнила, как муж говорил, глядя его пальцами: «Заплаточка на шедевре». Целовал шрам, гладил и шептал: «Шедевр, Дуняша, дорог изъязном».

Как она млела тогда от этой его студенческой ласки, но... Но, но...

Ах, это «но, но, но»! Если подслушаешь в качестве соседа, допустим, просто отсутствие аргументов, каприз, упрямство – и больше ничего. Однако женщина иногда заключает в это троекратное «но» внушительный противовес очевидным, казалось бы, достоинствам и разным там выгодам ситуации. Оно способно выразить больше, чем речи прокуроров и адвокатов. Тем более что, будучи построено не на фактах и параграфах, не оставляет никакой надежды противоположной стороне блеснуть мастерством.

Мужчина сражен уже тем, что ум его оказался не у дел. Одни превращаются в мямлю, другие, напротив, в разъяренного зверя, но проигрывают оба. Спасение не в умении разгадать этот, что и говорить, не до конца очерченный довод, а в том, чтобы, не размышляя, согласиться с его полнотой. Но этот шаг дается не многим. Мешают амбиции, подозрительность и странная уверенность, что изъясняться лучше словами. Этот-то последний козырь женщина и выбивает из рук. А вербально парализованный мужчина ни на что уже особенно рассчитывать не может.

Итак, она видела себя сейчас юной Венерой, а не женщиной в возрасте, как про нее сказал за глаза один подседельник. «Прыщавый супермен! – прошипела она, вспомнив переданную ей

по дружбе реплику. – Мрачный ублюдок! Ошибка гинеколога! Пустить под гору с завязанными глазами!»

Наказание, при крепких выражениях, получилось так себе. Она пробормотала: «Господи, к чему эта гуманность, если уж берешься?» И тут же заставила, бедного, добывать пальцами, в которые с утра вселился Гилельс, бумажный червонец из январского льда.

От этих нервных фантазий у нее заныла лодыжка. Однако сейчас ей хотелось плыть, воспарять, завинтиться пыльным столбом над водой, срывать с прохожих платки и шляпы и смотреть в сторонке на собственные превращения.

Гриша, смеясь, называл ее фантазии плохой литературой. Но она всегда тайно любила плохую литературу, и плохую живопись, и плохую музыку; с хорошими ей, напротив, бывало скучно. Любовь, да и смерть всегда кого-то оскорбляют. У них нет времени на глубокомыслие, даже на прическу. Они вульгарны, слишком красивы, вызываясь некрасивы. А то – сплошное общее место, как романс, трюмо или письма из деревни. Зато в них каждый может найти свою историю. Нарисуйте-ка свободу или несчастье мелкой кистью!

Сквозь стену она услышала, как муж сказал: «Емели правят...» Потом еще раз, громко, с бешенством даже (всегда удивлялась, откуда в нем берется этот полковой голос): «Еме-ли! Пра-вят!»

Ему часто, особенно после употребления, снились сложные сны. Как-то он даже сказал, что в снах проживает лучшую часть жизни. Этого Евдокия Анисимовна, которой сны снились редко и по большей части страшные, понять не могла и к снам мужа ревновала. Когда-то он рассказывал их ей, она до сих пор многие помнит.

«Сколько еще предстоит забыть, боже мой, – подумала она. – Надо успеть. Конечно, слова “пробежаться по росе” к ней уже не относятся. Но и осенью, и в беретике бывают ведь радости не хуже».

Какой-то звук мешал полной тишине, как будто по всему периметру узкой комнаты отходили обои. Наконец Евдокия Анисимовна заметила, что в бумажном шаре-люстре бьется большой комар. В детстве таких комаров они называли малярными, хотя большая часть из них были совершенно безобидны. Сейчас это соседство напугало ее. Пришлось снова вылезти из постели и пройти по холодному полу.

Тело ее темнело сквозь тонкую рубашку, как лампа в утреннем абажуре. Волнующий момент для случайного свидетеля. Евдокия Анисимовна знала, что, несмотря на некоторую округлость форм, никогда не была толстой. Гибкость у нее вообще поразительная. Поднять прямую ногу коленкой ко лбу – хоть сейчас. Ниточки на всех сгибах, как у младенца. И теперь еще есть на что посмотреть.

Евдокия Анисимовна была и правда женщиной изящной, а если бы не ее, больше идущая подросткам, манера говорить последнюю правду о вещах трудно формулируемых, то и соблазнительной. Стремительность ее движений при известной нам уже округлости форм, как и высокий голос травести, производили на мужчин приятное впечатление.

Палкой для штор Дуня начала раскачивать шар. Долговязый комар забился о стенки еще громче, уже не одними только крыльями, но и острыми коленками, и всем изогнутым в хвосте тельцем. Его паника передалась ей, рождая азарт.

– Гадина! Вот тебе твой Лиссабон! Пошел! Иди на волю! Да уйди же от меня! – зло шептала она, встав на стул и пытаясь просунуть руку в отверстие.

Слезы выступили на глазах. Не дело женщины бороться со всякой дрянью.

– Гриша, – позвала Евдокия Анисимовна, но тут же затопала ножкой о стул и принялась дуть в отверстие шара. – Вон, вон, вон!

Комар внезапно послушался, вылетел на свободу и довольно быстро в слепоте своей нашел форточку. Как будто и все дело его состояло в том, чтобы Дуню напугать.

Она слезла со стула и быстро юркнула под одеяло. Тело, которое еще недавно казалось верхом фарфорового изящества, теперь стало тяжелым и при этом как будто отсутствовало. С незаконченного портрета, оставленного на ночь без холстины, смотрел муж, словно хотел сказать: «Ну что? Теперь мы уже владеем ситуацией? Беда приходит, откуда ждали?» Доброго слова от него и с портрета не дождешься.

* * *

В Сбербанке Евдокия Анисимовна проверила, пришли ли из Москвы деньги за квартиру, сняла тысячу рублей, чтобы чувствовать себя спокойно, на углу купила шоколадный «Экстрем» (двадцать рэ, можем себе позволить), скинула обертку в урну и стала лизать мороженое, как в детстве, когда стаканчик молочного был праздником и приключением. Орешки, которые были сверху, разжевывала подробно, будто проверяя на прочность зубы, в которых и без того была уверена.

Ах, как она любила когда-то Гришу, кто бы знал! Он был ее Африкой и Америкой, Венецией и Парижем. Он был ее радио, газета, книга, кино, срочная телеграмма. Все стихи с его голоса она запоминала наизусть. С ним она шла в горы и поднималась на дирижабле, пела ему, болела с ним, рассказывала о бабушке, не раз с горящими глазами бежала на виселицу...

А как она гордилась его книгами, как нахваливала их! Ему все было мало. Но что же она могла, если в самом начале было сказано: «Превосходно! Фантастично!» Приходилось изворачиваться, усиливать троекратным повторением: «Действительно, действительно, действительно прекрасно!» А ему все казалось, что она недотягивает, не проникает в суть.

Смешно сказать, в школе он, старшеклассник, был почти одного роста с ней. Толстый, один только нос, который он и тогда, ничуть не смущаясь, а напротив, уже готовый к своему будущему величию, называл гроссмейстерским. На одноклассников это, правда, не слишком действовало, и прозвище у него было «Клюв». Чего нельзя сказать об одноклассниках. Те были в него влюблены. Еще бы, остроумный, талантливый, Кафку читал на немецком. Трепло, в общем.

Даже математичка, плененная его художественными талантами, прощала ему вызывающую, почти клоунскую тупость в математике. Так на халяву он и двигался дальше. Дальше и дальше... Леворукий сын зеркального мира, рожденный от инопланетян.

До чего же она была без ума, если даже в эту чушь верила? Верила, потому что и он был серьезен. Через всю жизнь эту версию протащил. Вот-вот энциклопедию свою о леворуких закончит.

Так на деревянном коне и проскакал всю жизнь. Умный, неужели не понял, что то, что в юности странность и тайна, в старости смешно?

Евдокии Анисимовне иногда было страшно себе признаться, до чего она счастлива. То есть совершенно! Как будто благополучно вынырнула из состояния смертельного отравления и никак не может насладиться вновь начавшейся жизнью.

Она удивлялась, как легко и вдруг произошла в ней эта перемена: жить без него. Общие знакомые, герои их разговоров превратились в имена. К тому же этот пронизательный биограф гениев совсем не разбирался в обыкновенных людях. Подобострастно хихикающий и потеющий Мамлеев просидел в их доме почти год, сочиняя диссертацию о каком-то Коневском, по которому Гриша в молодости еще собрал архив, да потом охладел. Хотя с порога было видно, что судьба неизвестного поэта несколько Мамлеева не волнует, что он пришел только воровать и пользоваться. «Остепенившись», Мамлеев, конечно, исчез, а вместе с ним исчезла переписка Герцена и Огаревой в серии «Русские пропилеи», которая делит теперь с ним холодное ложе в Мариуполе.

Все переживания, трагедии и восторги, которыми она жила вместе с Гришей, стали теперь просто словами, сценами давно прочитанных и наскучивших пьес. Даже Гришин почерк она забыла и ни за что не смогла бы расшифровать, если бы он, как когда-то, попросил перепечатать страницу.

О публикациях его и говорить нечего. Евдокия Анисимовна принципиально их не читала. Это, она знала, уязвляло мужа больше всего. «Литератор без текстов – нонсенс, – говорил он. – До него есть дело только медицине».

Его биографии отличались олимпийской задушевностью; автор, скромный и внимательный рассказчик, высоко ценил своего героя и был убежден, что жизнь поэта непременно похожа на его стихи, что житейские тропинки в какой-то непостижимой перспективе пересекаются с тропами литературными. Он проявлял интеллектуальный демократизм: всем давал высказаться, подробно пересказывал существующие версии, гипнотизировал читателя, который в конце концов склонялся к тому, что версия автора и есть единственно верная, потому что, кроме любви, за ней стоит не только многознание, но и некое тайное знание. К концу книги читатель доверял автору едва ли не больше, чем герою.

Но она была не только читателем, а еще и женой. Когда этот жестокий человек выпускал очередной задушевный текст, она воспринимала его не как чудо, а как обман и циничную мимику. Даже в низком, докторском, обволакивающем доверием голосе мужа ей чудились теперь подвох и насмешка.

Гипноз перестал действовать, вместе с ним исчез страх, вслед за страхом ушла любовь.

Да, страх сопровождал ее в течение всей жизни: не так сказала, не то сделала, не о том подумала. Его правила и вкусы не подлежали обсуждению, и она все время чувствовала, что не может вполне соответствовать им.

Нынче она не верила ни одному его слову. Втайне от мужа Евдокия Анисимовна стала перечитывать его книги и поймала себя на том, что версии, добросовестно излагаемые автором, кажутся ей занимательнее и вернее, чем его собственные. Если это была не просто игра и предполагался действительно свободный выбор, то она его сделала, и не в пользу автора.

Жизнь мужа теперь волновала ее в той же мере, как ежедневные новости по «ящику», как болезни и свадьбы дальних родственников, которых она никогда не видела.

Евдокия Анисимовна часто повторяла про себя французские стихи Тютчева: «Как мало действительности в человеке, как легко для него исчезновение...» Удивительно! Еще вчера, кажется, он занимал все пространство, заполнял каждую морщинку его. Теперь осталось пространство без него, как оно есть. Она радовалась этому, и, даже если из его пространства она тоже исчезла, это не сильно ее огорчало. В сущности, она там по-настоящему и не жила. Евдокия Анисимовна уже не мезью наслаждалась, а просто жила, радуясь тому, что не дано ей знать, что ждет ее через минуту.

В то время, когда каждая секунда ее была заполнена мужем, Евдокия Анисимовна продолжала чувствовать себя одинокой, хотя и не смела себе в этом признаться. Теперь, когда полностью ушла в себя, обретя, казалось бы, еще большее, настоящее, несомненное одиночество, она вдруг почувствовала свою связь с другими одиночествами, и ей стало легче.

Сейчас она шла на встречу с такой же одинокой, как она, женщиной, Светланой, с которой недавно познакомилась на этюдах и муж которой умер два года назад.

* * *

– Пробовать – не покупать! – кричал мальчик-узбек, держа на одной руке дыню, на другой килограммовую гроздь винограда. – Город-хлеб Ташкент!

Евдокия Анисимовна хотела сказать, что и дыня, и виноград наверняка прошлогоднего урожая. Ташкент, не Ташкент – значения не имеет, не с грядки же. Но мальчик напомнил

ей чем-то Алешку. У того тоже был такой румянец на смуглой коже и такая улыбка с испугом, которую ей всегда хотелось защитить. Оттого и узбек показался ей родным, вчера только вылезшим из-под обломков землетрясения и прилетевшим на этот северный базар, чтобы заниматься здесь своим сиротским промыслом.

Евдокия Анисимовна вспомнила вдруг, как они с сыном играли в хоккей. Он пластмассовой клюшкой, она палкой для белья. Воротами служили ножки стула. Клюшкой играть, конечно, было удобнее, но Евдокия Анисимовна ложилась на пол, и шайба попадала в нее. По правилам разрешалось.

Потом, по-зимнему закутавшись, они шли в сад. В саду были только старички и румяные клены. Дети уже, наверное, спали.

– Через три недели и два с половиной часа наступит зима, – говорила она.

– Поживем – увидим, – отвечал он старческим голосом, и они оба смеялись. Она бросала в него листьями, он отбивался, распыхивался, кричал:

– Вы из какуева?

– Мы из Кукуево, – отвечала, как положено, Евдокия Анисимовна, тоже раскрасневшаяся и запыхавшаяся.

– Вы куда?

– Куд-куда.

Но отчего же у Алешки на всю жизнь остался испуганный взгляд?

У Гриши был пунктик: он боялся, что сын получит женское воспитание, а потому обоих держал в строгости. Как-то зимой (тогда только появилось мороженое с фруктовым вкусом) они взяли Алешу с утра в магазин, купили ему эскимо с запахом дыни и оставили гулять во дворе. В то, что мороженое нельзя есть зимой, чтобы не простудиться, Гриша не верил, считал предрассудком. Она влюбленно потакала.

Там в саду произошел конфликт. Сквозь Алешкин плач Евдокия Анисимовна восстановила кой-какие детали.

К нему сзади подкрались старшие ребята и сбросили на него с дерева гору снега. Алешка задохнулся, больше от неожиданности, конечно. Ате стали издеваться: хохотали, плясали, показывая на него пальцами. Филин, сын полковника из шестого корпуса, радовался больше всех. Он туго затянул шарф на Алешкиной шее:

– Не простудись, дорогой!

Потом стал натирать снегом Алешино лицо, а двое других больно прижали ему уши. Дело было не в том, что снег раздирал кожу, объяснял потом Алеша, но шарящая по лицу ладонь... Алешка заплакал и закричал.

– Кушай мороженое, паинька, – приговаривал Филин.

– Смотри не простудись. Нет, куда родители смотрят, а?

– А что, пацаны? Надо его сфотографировать на коробку детского питания. – Все снова заржали. – Там как раз таких целлулоидных любят. Ты только мороженое держи пряменько, косолапый, за палочку, вот так. Пупсик.

Алешка погибал от ненависти. Парни всё еще крепко прижимали его уши. Плач перекрыл горло, он сипел. И только сейчас он сообразил, что продолжает аккуратно держать мороженое, как будто бережет его, как будто после того, как эти придурки уймутся, он примется спокойно его доедать.

Как спастись? Что сказать? Доконало его слово «косолапый» (Алеша в детстве был мальчиком упитанным).

– Еврей! – крикнул он Филину.

Все вдруг замолчали. Алешка понял, что сказал что-то страшное, что он, сам не зная как, нашел слово, которое подействовало сильнее любой ругани.

– Что? – пригнулся к нему Филин.

– Сейчас начнут бить, – понял Алеша. Он резко подсел вниз, оставив шапку в руках у обидчиков, потом выпрямился, впечатал мороженое Филину в лицо и быстро достал из кармана автоматический ножичек, который ему подарил отец. С открытым ножиком Алеша сделал шаг вперед.

– А ничего! – закричал он. – Всех убью!

Он резанул ножиком воздух прямо перед лицом Славки Филина, едва его не задев.

– Убери ножик, шиз! – крикнул Славка.

– Считаю до трех.

– Да ладно, парни. Пошли от него подальше. Еще заденет по-дурочке. Ему же не сидеть.

Посадят отца.

Парни, стараясь не терять гордости, стали уходить, время от времени оглядываясь.

Алеша понял, что решающий момент упущен. Догнать он их все равно не сможет – убегут, да еще с улюлюканьем. А и догонит, не сможет ударить ножом. Минуту назад это еще была бы оборона, теперь – убийство. Страх убийства был даже сильнее позора. И тогда он стал выкрикивать слово, силу которого только что узнал:

– Евреи, евреи, евреи!

Дома он разрыдался по-настоящему. Евдокия Анисимовна взяла в руки ножик, ища кнопку, чтобы закрыть.

– Говорила тебе! – бросила она Грише.

– Ну, знаешь... Если спичку бросить в цистерну с бензином...»

– Оставь! А если бы он убил?

– Убить им нельзя.

Алеша снова разрыдался.

– Ладно, ладно, успокойся! – говорила Евдокия Анисимовна. – Вот только откуда ты это слово взял? И почему ты решил, что евреи – это ругательство? Ведь так можно и про русского сказать: русский. Но разве это ругательство?

Это все была Гришина выучка. Ей бы просто обнять сына, пожалеть, помыть его в ванной, накормить. Но они ведь воспитывали Человека!

– Погоди-ка, мать, – сказал Гриша и обнял сына. – Слушай сюда и запомни: он – не еврей, еврей – ты!

Гриша с легкостью обращал свои причуды в их с Алешей заповеди. Еврейской крови в их роду, скорее всего, не было.

После войны Гриша пытался разыскать свои корни, но не слишком преуспел. Бабка его, правда, была из деревни украинских евреев, жители которой носили одну фамилию

– Потягайло. В 42-м их всех уничтожили немцы, об этом тогда же писал Эренбург. Удалось, однако, найти старика Потягайло, который выжил благодаря тому, что воевал. Он твердо свидетельствовал, что бабка отца была приемной дочерью, нашли ее младенцем на берегу ставка, и считалось, что подкинули ее проезжие поляки.

Тот же старик рассказал эпизод времен еще Гражданской войны. В соседнюю деревню вошли петлюровцы и начали чинить расправу над жителями. Прадед Алеши был родом как раз из той деревни. Он только-только женился и жил на два хозяйства, помогая родителям. К жене его прибежала соседка с криком: «Беги! Твоего Феофана хотят убить как жида!» Та бросилась за шесть километров и успела вынуть своего суженого почти из петли. Потом ругала его всю дорогу: «Что же ты молчал?» Феофан отвечал невнятно: «Да неудобно было».

Отец пересказывал этот эпизод всякий раз со слезами. Восхищение при этом у него вызывала не бабка, рисковавшая собой из-за пусть и формальной принадлежности к евреям, а дед, которому неловко было отмазаться от смерти с помощью простого и правдивого признания, что он не еврей.

Национальный вопрос с помощью этой истории, конечно, был решен, хотя так навсегда и остался открытым вопрос о еврейских корнях Гриши. Но суть в другом: это ли нужно было в тот день Алешке?

* * *

Евдокию Анисимовну кто-то крепко схватил за руку. Это была Светлана. Она жизнерадостно жевала и свободной рукой стряхивала с губ мусор.

– Ой, напугала, чума! – выдохнула Евдокия Анисимовна.

– Дунь, так мне понравились круассаны! Три съела, два лежат».

– А сколько ты их купила-то? – Евдокия Анисимовна еще не успела переключиться со своих мыслей на подругу.

– Пять. Три съела, два лежат. Хочешь?

Светлана была моложе Евдокии Анисимовны. Лицо ее было неправдоподобно красное, какие помещают в книжках-раскрасках, просто идеальное лицо для роли супруги синьора Помидора. И губы, как будто она все время держит перед собой блюдечко и дует на чай. Такие губы другому лицу придавали бы выражение обиды и надутости, но это не про Светлану. Глаза ее нежного-нежного, бледного-бледного салата всегда улыбались.

– Дуня, – продолжала Светлана уже о другом, – почему мои картины называют примитивизмом? А? Я ведь рисую точно, как есть. Вот смотри, смотри, эта стена, которая осталась от дома. На ней обрывки обоев, так? Газеты, квадратики темные от портретов; потому что, видишь, это внутренняя сторона, с этой стороны жили, кто-то носом в нее засыпал, а сколько матерщины она слышала, семья ведь, всякое бывает, кто-нибудь кому-нибудь обязательно в глаз попадет, насмотревшись.

Евдокия Анисимовна засмеялась.

– Ну, я правду говорю. Что? Не так?

– Да так, так. Что ты кричишь-то? Потихоше говори.

– Так обидно же! – Она между тем достала из пакета еще один круассан. – Съешь. Ой, глянь, так на мужское достоинство похож!

– Светка, дура! Да спрячь ты свой круассан! Я думала, мы куда-нибудь в кафе пойдем, посидим как приличные девушки.

– Идея принята. На все сто. Я к тому же с утра ничего не ела.

В кафе было темно. Подружки выбрали угловой стол, подальше от динамика с песнями. Светлана настояла на том, чтоб не бутылку заказывать, а чтоб им наливали из бочонка. Из таких они, оказывается, пили с мужем, когда были в Средней Азии. Евдокия Анисимовна, которая думала сначала о бокале холодного сухого вина, вдруг заметила на одном из бочонков надпись «Портвейн "Прасковейский"» и твердо остановила свой выбор на нем.

– Ой, а не хмельно будет? – спросила Светлана.

Гулять так гулять! И по шашлыку. На ребрышках.

У Евдокии Анисимовны тоже возникли свои соображения. Это вино они впервые пили с Гришей в лесу, в Келломяках.

Гриша тогда объяснял ей, что лес, где они сидят, это одна из террас Карельского перешейка. Когда начал таять Валдайский ледник, на месте его образовалось много морей и озер, которые стали заливами древней Балтии. Постепенно эти последки ледника стали сокращаться, и на их месте остались вот такие пологие террасы. Поэтому сейчас они сидят не просто в лесу, а на дне Литоринового моря, которое бушевало здесь каких-нибудь пять-семь тысяч лет назад.

Он говорил еще тогда, что вся жизнь – странствие. Жизнь каждого человека, а может быть, и человечества в целом. Она запомнила, как он сказал, что странствие во времени и про-

странстве – совсем не то что путешествие. Все мы, уходя к чужим людям и в чужие страны, и просто в чуждую стихию природы (морьяки, например), якобы только тем и занимаемся, что ищем путь к истоку, к родному, пытаемся понять свое как все более свое. Для этого мало просто однажды проснуться в юности в своем доме (слово «дом» он произнес как-то особенно, как будто это было и просто родительское жилье, и одновременно Дом, о котором говорится в Евангелии). Потому что и родное значило что-то большее, чем родственная связь, а как бы прикосновение к тому, что предшествовало даже и происхождению родителей. Еще Евдокия Анисимовна запомнила, чем это их странствие отличается от авантюры. Цель путешественника-авантюриста в том, чтобы заплывать все дальше и дальше, а их отдаление от дома является возвращением к себе. Поэтому и не случайно, что они сейчас сидят не где-нибудь, а на дне тысячелетнего моря.

Понимала ли тогда что-нибудь она в словах Гриши, трудно сказать. Скорее чувствовала, что все это имеет какое-то отношение к ее любви и что они не просто сейчас пьют вино под соснами, которые раскачивает ветер с моря, и не просто их руки то и дело норовят оказаться под одеждой у другого, а есть еще какой-то смысл в этом, в том, что именно они, а не другие сидят здесь. И факт их настоящего участия в этом большом замысле делал совершенно не нужным проникать в этот смысл, если уж они сами и есть его представители, его герои, он сам. Ей казалось, что не только ветер, само небо попадает в ее легкие, было легко и больно дышать. Гриша тоже заметно волновался.

Любил ли он ее тогда, верил ли сам в свои слова или просто иначе и не умел выражаться? Бог его знает! Сейчас Евдокии Анисимовне казалось, что не любил и не верил. Или же потом жестоко обманул. Разницы, в сущности, нет.

Но умел Гришка заморочить голову. Что умел, то умел.

Евдокия Анисимовна так погружалась иногда в свои мысли, что с трудом соображала, где находится и на каком моменте жизнь ее остановилась до этого. Сейчас она обнаружила, что Светлана давно уже, судя по всему, рассказывает ей о своем муже, с которым они сошлись в Апатитах, где та отработывала три года после училища.

– Книжки – смерть как не любил. Мне приходилось все в школе держать. И тетрадки там же проверяла, он не любил. А в младших классах, сама знаешь... Еще чистописание было, каждую букву по сто раз выписывала. И Наташка уже родилась. Эта стерва полтора года из меня сосала, никак не могла ее отучить. В ясли уже к ней с полными титками бегала. Хотя все советовали отказать, но я боялась, что она нервная станет. Так я свои молоденькие доилки в тот год и растянула. Девки спрашивают: «Светка, у тебя груди стоят?» Дак стоят, отвечаю, когда гвоздь из сапога вытаскиваю. А этот дурак еще и ревновал: где шлялась да где шлялась? У меня все учебники и хрестоматии на работе, в шкафу. К урокам надо подготовиться? Где шлялась? С Кузьмой на лавке доцеловывались! Но дочку он обожал. Не прикрикни на нее – убьет! Придет поздно и сразу ее – лап! – из кровати: «Где тут моя загогулина?» А она только что, бывало, уснет. Дремучий был, да и бухому время всегда ранним кажется. Хотя в Апатитах он так не пил, это здесь уже, когда на говновозе стал работать. Совсем потерял себя. Я уж жалела, что сюда его вытащила, лучше бы там с ним осталась. Хотя там тоже трудная жизнь, конечно. А зима-то, зима! Солнце появится, меньше куриного обглодыша, и снова исчезнет, так что и рот запахнуть не успеешь. Ну, за нас, любименьких!»

Они чокнулись гранеными стаканами, как фронтовые подруги. Вино уже бегало по всему телу и светлячками мигало в глазах. Евдокия Анисимовна скинула вязаную жилетку.

– Какая у тебя блузка! – воскликнула Светка. – Мне никогда такие не попадаются, или денег нет, потому и глаза не видят. Дорого?

– Да задаром почти. На китайском рынке купила.

– Это надо же! Как на заказ пошита. Тебе очень идет. Завидую. Надо же! А у меня ни одной вещи не было, которой позавидовать можно. Чтоб специально для меня. Фактурой я не вышла. Ты вот красивая.

– Ну, спасибо. Мой муж так, кажется, ни разу и не догадался мне это сказать.

– Да ты что? Не может быть! Это же сразу видно».

– Светка, не поверишь, он мне даже ни разу не сказал, что любит.

– Это, знаешь, – сказала Светка многоопытно, – бывает. У стеснительных. Как будто кто им камень на язык положил.

– Он стеснительный? – рассмеялась Евдокия Анисимовна. – Это я всю жизнь себя стеснялась, веришь? А сейчас смотрю – действительно, вроде ничего! Мне об этом лет тридцать назад бы узнать.

– А и сейчас не поздно. Ты моложе меня выглядишь и одеваться умеешь.

– Светка, мы завтра же пойдем и присмотрим что-нибудь для тебя.

– Давай! Ты выберешь, я заплачу, а все равно будет как бы дареное. Потому что ты выбрала. Мой-то мне сроду ничего не дарил. Наоборот, когда с работы выгнали, воровать у меня стал. Просит, просит, бывало. Мне жалко становится, я даю. А у него же гордость, не может каждый день просить. Стал воровать. И деньги, и вещи. Хотя какие у нас вещи! Но я в комоды всё, даже лифчики свои заперла и ключ с собой носила. А твой воровал?

– Нет, ты что? Да и зачем? Вся жизнь и так была под него расписана. Он главный. Только его работа. А пьет? Творческому человеку надо расслабиться. Все должны понимать. Как только лето, ему тут же срок очередную книгу сдавать. Собираем в Дом творчества. Сами копейки считаем, а он там пишет, или снова пьет, или с бабами гуляет – кто его знает? Только приезжает опять усталый. И под хмельком. Пиджак однажды неаккуратно на вешалку повесил, тот свалился, и полетели из него червонцы да четвертаки.

– А ты бы – раз! – и приватизировала!

– Зачем мне его деньги? Я сама зарабатывала. И потом, я ведь квартиру в Москве оставила, когда мы поженились. Сдаю. Тоже деньги. Я вообще никогда за его спиной не жила. Он ведь человек довольно известный – книги, телевидение, интервью. Знают его, в общем. Но никогда в жизни я не сказала: «Мой муж...», «У моего мужа...» Не было у меня такого. Я и фамилию его отказалась брать. И все же мужик в доме должен быть? А у нас, если из крана фонтан во все стороны или паркет из-под ног вылетает, это не к нему, боже упаси! Каждый должен заниматься своим делом. Паркет, значит, наше с Алешкой дело.

– О, мой все сам дома делал. Руки у него откуда надо росли. А чтоб кому-нибудь свои же, кровные платить?

Нет, и электричество, и ремонт – все сам. Твой сильно пил-то?

Евдокия Анисимовна сама не заметила, как, подражая Светлане, стала говорить о Грише в прошедшем времени.

– Как будто два разных человека в доме жили, друг с другом не знакомые. В пьяном в нем крестьянская наследственность сразу давала себя знать – у него и мать и отец из одной деревни. Я раньше думала, он и слов-то таких не знает. А наутро встанет – как ни в чем не бывало.

– А это уж так, так.

– Однажды до того с друзьями допились, ребенка в коляске на улице забыли. Продавщица в рюмочной спрашивает: чей там ребенок в коляске плачет? А эти уже набрались. Все отвечают: мой! Она, от греха подальше, лавочку закрыла, объявление повесила и с ребеночком домой.

– Ох ты!

– Только матери и отдала.

– Тебе, то есть?

– Нет, это не мой Алешка был, а дочка его знакомого. Алешка тогда уже в детский сад ходил.

– А-а... И то слава богу. А дрался?

– Ну, когда напьется да поругаемся...

– Все они такие, паразиты! А значит, любил.

– Светка, и чего ты чужие глупости повторяешь?

Евдокия Анисимовна расстроилась. Не получалось у нее рассказать Светке свою историю. Все несчастье, которое она выносила в себе, и слова, такие убедительные, что она, произнося их про себя, невольно начинала плакать, в разговоре с простоватой Светкой теряли и силу, и смысл, казались чуть ли не капризами барышни. Бабьей жалобы не получалось, а другие доводы не шли на ум, да они здесь были и не нужны. Разные жизни они со Светой прожили, и не слить им было, как они ни стремились, два своих одиночества в одно.

Разрумянившаяся больше обычного, Светлана возвращалась с двумя вновь наполненными стаканами и при этом напевала: «О чем-то дальнем и родном, о чем-то близком, дорогом сгорают, плача, свечи».

Евдокия Анисимовна поймала себя на том, что ей перед подругой хочется защищать Гришу, рассказывать, какой он замечательный, но это уж было бы совсем глупо. Вместо этого она сказала, почти уже не обращаясь к своей соседке:

– Я не сразу это поняла... Он просто не способен был любить. В этом, наверное, даже и винить нельзя.

– Как это?

– Ну, у одного ума нет, у другого там еще чего-нибудь, чувства юмора. Ну, родился же кто-то слепой, не видит, у другого руки нет. Вот и у него не было того органа, которым любят.

– Ужас какой! Импотент что ли?

– Да при чем тут? Разве в этом только дело?

– Не скажи. Но я понимаю, понимаю. Ласки в нем не было. Понимаю. А из родных-то кто-нибудь еще есть, кроме сына?

– Нет, – задумчиво ответила Евдокия Анисимовна и только сейчас как будто впервые поняла, что она действительно осталась совсем одна на свете. У Алешки давно своя жизнь, не слишком тоже удавшаяся, но с этими взрослыми заботами к матери не ходят. Он и всегда, впрочем, был перед ней не очень открыт, всегда больше с отцом. Сейчас живет где-то за городом, адреса не оставил. Значит, нет ни одного живого существа, которому есть до нее дело и которому она по-настоящему нужна. И тут она вспомнила, больше для разговора, потому что по существу это ничего не меняло: – Брат еще где-то сводный. Но он, кажется, в батюшку-подонка пошел, все больше по тюрьмам пропадает. Я его всего несколько раз видела. И то в детстве. Раз правда пришло письмо, что, мол, вышел из тюрьмы, остался без документов, и верно ли, что я здесь прописана и что я точно его сестра? Я не ответила. Вдруг приедет да прописку потребует? А он, наверное, скоро снова сел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.